

Грот Е. Творчество Чехова в новом освещении // Новое русское слово.
Нью-Йорк, 1960. 10 июля. № 17289. С. 8.

ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО

Творчество Чехова в новом освещении

А. П. Чехов, как настоящий мастер слова, не признавал изображение «штампованных», застывших в определенную форму характеров и образов, художественным творчеством. От этого же предостерегал он и молодых драматургов. Герои своих пьес он, поэтому, наделял чертами как бы строго индивидуальными (из одной присущими). Но все эти мелкие, эти «домашние» черты чеховских героев каким-то чудом в конце концов оказываются совсем не «домашними». Они связываются в одно целое и принимают обобщающий характер. Молодой талантливый критик А. Роскин, (погибший во 2 мировой войне), писал о Чехове: — «За каждым частным домашним фактом мы угадываем бо́льшее общественное явление, за каждой, словно случайно встреченной фигурой — целый социальный пласт». (А. Роскин. «Три сестры»).

Именно поэтому даже и революция не отбросила творений Чехова в прошлое, «отжившее», но сделала их, быть может, еще ближе и понятнее.

В первые годы после революции пьес Чехова не ставили, но не потому, что их содержание отрицалось, а потому что даже Художественный театр почувствовал необходимость для постановки чеховских пьес каких-то новых форм, новых истолкований. Творения Чехова впитаны в общий исторический процесс. Их кажущийся реализм в сущности состоит из намеков, которые действительность открывает и развертывает постепенно, и, как писал тот же А. Роскин — «...чеховских пьесах бо́льшой социальный исторический смысл нередко оказывается лежащим в еще более глубоких «внутренних слоях». Именно по причине этой глубины театр Чехова так долго считался «античным» и «академическим», а основу его полагали лишь смену настроений, а не историческое значение показанного на сцене.

Когда в 1940 году, отмечая 80-летие со дня рождения Антона Павловича, Художественный театр возобновил старую

постановку «Вишневого сада», сами артисты почувствовали, что постановка устарела. В результате, в 1941 г. «Три сестры» были поставлены по-новому, по-новому. Это было попыткой приблизиться к чеховскому миропониманию. Сохранению пьес было дано новое освещение.

До революции мы считали Чехова певцом «сухопутных душ», не то утешающим тоскующих, не то произносящим над ними надгробное слово.

Д. Философов в статье «Липовый чай» доказывал, что все чеховское творчество это и есть тот липовый чай, которым старая няня Марина поит больного профессора Серебрякова: — «Что, батюшка? Болею?... Пойдем, светик... я тебя липовым чаем попою, ножки твои согрею». (Дядя Ваня, акт 2).

Зинаида Гиппиус, объясняя Чехова, шла еще дальше: — «...значит скоро новое заморозит и сладко уснет, как замерзающие. Пока — скучно (пока еще жива кое-какая любовь), а потом будет сладко. Из чеховской нежной, тонкой, слепой скуки нет другого пути, как в последнюю сладость последнего замерзания».

Однако, совершенно другое впечатление о Чехове, после появления «Трех сестер», вынес молодой критик Д. Линч — псевдоним, под которым писал тогда начинавший Леонид Андреев. Он замечал, что «Три сестры» полны не «тоской от жизни», но «тоской по жизни». «...целую неделю я твердил: как хорошо жить, как хочется жить! Результат чрезвычайно неожиданный!... Три сестры», слезы, уныние — и вдруг: жить хочется! Однако, это верно и не для меня одного, а и для многих лиц, с которыми мне пришлось говорить о драме... с пьесой Чехова произошло крупное недоразумение и, боюсь сказать, вливание в нем критики, приращение «Трех сестер» глубоко пессимистической вещью... Тоска о жизни... слезы ее героини, поэт гимн этой самой жизни. Жить хочется, смертельно, до истомы, до боли жить хочется... Какую-то незаметную черту перешикнул А. П. Чехов,

и жизнь... засияла победным светом».

Чехов — человек ведь любил жизнь и хотел жить. Он, больной, писал из Ялты О. Д. Кнппер: — «...я живу полной жизнью, не пью, хотя люблю выпить; я люблю шум, и не слышу его...» Вынужденный отход от жизни и шума ее причинял Чехову страдание. Он любил жизнь, он старался заступить за радость жизни. В. А. Тихонову он говорил: — «...мы плакали на моих пьесах. Да и не мы одни. А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев (Ставровский) сделал такими плаксивыми. Я хотел другое... я хотел только честно сказать людям: «Посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!» Самое главное, чтобы люди это поняли, а когда они это поймут, они непременно создадут себе другую, лучшую жизнь... Над чем же тут плакать?»

Но, конечно, не к спокойной, тихой и уютной жизни призывал людей Чехов. Он хотел какого-то иного счастья, верил в его наступление и говорил о нем устами героя своих пьес.

Дядичеву он писал (30 дек. 1902 г.) — «...Теперешняя культура это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться может быть еще десятилетиями, для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину, настоящего Бога».

Сестры Прозоровы это только первые ласточки, предвестники такого светлого будущего. Их еще мало в тесной жизни будней Пошлости, как сорная трава, одолевает и заглушает их, но придут другие такие же, придет когда-нибудь много! Поэтому вторая постановка «Трех сестер» была выдержана Художественным театром в более веселых и светлых настроениях. Драма отдельных личностей не отходила на второй план, но слез и отчаяния было меньше. Первое действие шло на фоне окон раскрытых в цветущий весенний сад. Это был праздник молодости, надежд и радости. Все прибывающее на

сцену люди, смех, шутки — все указывало на нарастание счастливых ожиданий. Правда, в четвертом акте все надежды разбиваются, четвертый акт — точно фильм, пущенный в обратную сторону. В нем все убывание, уход, прощание. Но все же в конце «Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! Жизнь наша еще не кончена. Будем жить!» Быть может появление в заключение действия Андрея с котяткой, в которой сидит Бобик, показывает не только гибель отцов, но и явление новых поколений. Не только конец, но и начало!

Чехов, однако, прекрасно понимал, что «...наступает на всех нас промат, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка...»

Советские критики готовы уже принять эту бурю как миновавшую, процесс наступления новой жизни свершившимся. Все работают и должны в работе находить и счастье и удовлетворение. Но вряд ли Чехов думал именно это. Не даром один из политиканствующих критиков возмущался тем, что Чехов, устами Вершинина, уж слишком отдалал наступление светлого будущего. Критик К. Томашен-

ский так и заявлял: — «Вершинин — не герой нашего романа... Его мечта о лучшей жизни «через 200-300 лет» слишком рассудочна и суха. Такие астрономические сроки для нас неприемлемы и, если хотите, смешны. А эта его проповедь растянутой на столетия эволюции, эта его пошловщина, кадетская в своем существе идеология, — разве мы можем все это хотя бы в какой-то мере принять?» Но сам Чехов в скором времени ждал именно только бурю и создавал, что счастье может придти только через несколько столетий

Глубоко понимающий Чехова А. Роскин видел в произведениях Чехова мотивы бездомности, а в стремлении сестер «в Москву» и потере ими дома — потерю родины.

Дом Прозоровых захватывает грубая, напористая мешанка Наташа. Она вытесняет из дома сестер Прозоровых и убивает духовность Андрея. Есть в пьесе и еще одно лицо, действующее заодно с Наташей, не появляющееся на сцене, но невидимо все время присутствующее и влияющее на судьбы героев. Быть может Чехов нарочно сделал Михаила Ива-

ныча Протопопова близким? Он, как темная сила, наполняет дом Прозоровых своей пошлостью.

Тузенбах — аристократ не только крови, но и духа, стоит поперек дороги честолюбивому Соленику, мечтающему о влиянии, но сознающему свою недостаточность и свою оправченность. Недаром Соленик носит с собой все время флакон духов, ему кажется, что от него дурно пахнет, что люди избегают его. Эта психологическая и медицинская правдивая черта приписана Соленику доктором Чеховым сознательно. Зависть и злоба Соленика не просто реальность, это ненависть оправченного к лучшему и духовно высокому. Отсюда и пуля, убивающая Тузенбаха.

Чехов верил, что жизнь становится прекрасной, но что до тех пор пройдут еще сотни лет, будет много слез и страдания, многие будут стремиться «в Москву» и не находить в этих путях. Но все таки, предупреждал нас Чехов: — «Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить!... кажется еще немного и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем».

Е. Грот